

Леонид Андреев

Проклятие зверя



Леонид Николаевич Андреев

Проклятие зверя

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146734

Аннотация

«Я боюсь города, я люблю пустынное море и лес. Моя душа мягка и податлива; и всегда она принимает образ того места, где живет, образ того, что слышит она и видит. И то большая она становится, просторная и светлая, как вечернее небо над пустынным морем, то сжимается в комочек, превращается в кубик, протягивается, как серый коридор между глухих каменных стен. Дверей много, а выхода нет – так кажется моей душе, когда попадает она в город, где в каменных клетках, поставленных одна на другую, живут городские люди...»

Леонид Николаевич Андреев Проклятие зверя

Посвящается А. М. А.

Я боюсь города, я люблю пустынное море и лес. Моя душа мягка и податлива; и всегда она принимает образ того места, где живет, образ того, что слышит она и видит. И то большая она становится, просторная и светлая, как вечернее небо над пустынным морем, то сжимается в комочек, превращается в кубик, протягивается, как серый коридор между глухих каменных стен. Дверей много, а выхода нет – так кажется моей душе, когда попадает она в город, где в каменных клетках, поставленных одна на другую, живут городские люди. Потому что все эти двери – обман. Когда откроешь одну, за ней стоит другая; и когда откроешь эту, за ней видна еще и еще; и сколько бы ни шел по городу, везде ты увидишь двери и обманутых людей, которые входят и выходят.

И я боюсь города, его каменных стен и людей его, у которых маленькие, сжатые, кубические души, имеющие так много дверей и ни одного свободного выхода. Но бывает иногда, – и причину этого явления зна-

ет только таинственная душа моя, – но бывает иногда: вдруг очарует меня далекий город. Так далек я от него, что даже зарева ночных огней его не вижу; так далек я от него, что даже не слышу его грохота – и вдруг он кажется мне близким, вдруг он протягивает ко мне свои каменные пальчатые руки и зовет с величавым укором.

– Глупый человек, пересыпающий между пальцами морской песок и следящий бесконечное движение его! Нет голоса у морского ветра и слуха нет у волн его, – зачем же стучишь ты в дверь, которая замкнута навеки? Посмотри на меня. Разве я не такое же море, как и это, и мало простора в берегах моих? И дома мои – волны, и грохот мой – грохот бури; и улицы мои – течения, и недра мои – пучина. Погрузись же в меня! Одинокий, стань одною из моих маленьких волн; обособленный, растворяйся в их однородности; великий, умались их малостью; единый, умножься их множеством. Иди же ко мне!

Так говорит лживый город и протягивает каменные пальчатые руки. И тогда трепещет моя обольщенная душа, порываясь; и тогда прижимаюсь я к ней, к моей возлюбленной, к той, которую я люблю больше всего на свете, и шепчу ей с ужасом:

– Ты слышишь? Город зовет меня.

Бледная, она говорит:

– Посмотри: вот над морем идут облака. Это хоронят умершего героя. Ты видишь титанов в багряных плащах, шагающих так важно? Их волосы разметались, лица их суровы и грозны, и нет на них печали. Они хоронят умершего героя.

– Я не хочу смотреть на небо!

Бледная, она говорит:

– Послушай: вот поют волны и ударяет в литавры прибой.

– Я не слышу! Я не вижу: меня зовет город. Мне чужды облака, эти бесформенные, безобразные груды сгустившихся паров; холодом и тиной дышит на меня плеск волны, безразличием вечности пугает меня огненный закат. Я хочу милых, подвижных людей, которые говорят так понятно; я хочу каменных домов, я хочу электричества, которое я сам зажигаю, сам гашу! Ты помнишь, как ночью под окнами поют гудящие трамваи, – как по асфальту щелкают копыта, – как пахнет мокрой пылью, – как тесно движется горячая толпа, – как над громадою домов горят на черном небе огненные слова, золотые, зеленые, красные...

– «Шоколад и какао»... Ты про эти слова говоришь?

– Да, «шоколад и какао». А что говорит мне солнце? Вечность. А что говорят луна и звезды? Вечность и тайна. Я не хочу вечности и тайны. Я хочу шоколада и какао. Я хочу, чтобы и на небе было написано то, что

я понимаю, что сладко и не пугает меня.

– Хорошо, – говорит она и улыбается нежно. – Иди. Но там тебе будет плохо, и я пойду с тобою.

Возлюбленная моя! Ограждающая от зла и смерти! Творящая добро и жизнь! Возлюбленная моя! Люди видят тебя как женщину, а ты – великая и светлая тайна, священный престол, у которого надо молиться. Если бы я умирал, ты сказала бы: твоя могила темна и сыра, боюсь, что там будет плохо тебе, – пошла бы за мною. Если б умирала ты, и я бы сказал: не умирай, ты не знаешь, как мне будет плохо без тебя, – ты преодолела бы смерть и жить осталась бы ты. Если бы я сказал... Кто ты, светлая тайна?

Я суечусь, я в радостной, хлопотливой тревоге. Это уже не лес и не пустынное море, это вагон, наполненный людьми. Все мы сидим, и нас всех вместе везут в город; у всех вещи: чемоданы, картонки и саки, и у меня чемодан, картонка, сак. Все суетятся, хватают вещи, толкаются, зовут носильщика, и я тоже. И все мы, не я один, как в лесу, – и все мы дружно идем к выходу и садимся на извозчиков. Номер моего извозчика: 14 800.

Ее я все время немного забываю, но в карете, где нас почему-то лишь двое, я благодарно смотрю в ее усталое лицо и целую руку:

– Правда: как весело, как шумно? Как много народу!

Смотри: идут солдаты.

– У тебя усталые глаза.

– Это ничего. Так ты будешь ждать меня?

– Да, – когда ты придешь.

Упрямая, она хочет поселиться в отеле, который в самом конце города, почти там, где начинается большой городской лес. И со мной в город идти не хочет, говорит, что там, на улицах и в ресторанах, она мне не нужна. Это правда, я все время немного забываю ее, и как будто она несколько отделилась от меня. Как будто это множество людей, мужчин и женщин, частицу которых составляем мы, разъединяет нас, ее делает похожей на всех женщин в розовых шляпках, меня – на всех мужчин в черных шляпах. И минутами даже странно: почему я говорю ей «ты»? Почему она говорит мне «ты»? Но приятно.

В отеле нас и еще каких-то двух дам и господина поднимают на лифте – всех вместе. В лесу, или на берегу моря, людей всегда видишь издали, а здесь мы, незнакомые, так близки, что лица кажутся огромными, особенно носы. Странно подумать, что и у меня должно быть такое же огромное, носатое лицо, и мне неловко, все кажется, что где-то что-то у меня не в порядке. Потом нам отводят комнату, номер 212-й. Направо и налево по коридору такие же двери и комнаты, и во всех них живут. Под нами, под полом, еще три

этажа, и там все такие же комнаты и двери, и везде живут. Как много людей в городе! А там, внизу, щелкают по асфальту подковы, поют гудящие трамваи, что-то движется, переливается бесконечно, и, охваченный восторгом, я распахиваю окно и кричу, поверх крыш и верхушек деревьев, туда, в сизую дымчатую даль, где колокольни и трубы и какие-то блестящие шпили:

– Город! Город! Город!

Потом быстро оплескиваю водою лицо, торопливо ем и пью что-то, что подают всем, наскоро целую ее, – и туда, вниз, на улицу, где бурлит и грохочет это море. Поскорее стать одною из этих маленьких волн, уменьшиться их малостью, умножиться их множеством, растворить свое одинокое, сумасшедшее «я» в однородности всех этих таких же одиноких, сумасшедших «я», сделавшихся «*мы*».

– Город! Город!

То был смутный и странный день, и мне трудно его вспомнить и рассказать, как сон. Я хорошо помню форму всех облаков, какие я видел когда-либо на небе; я твердо помню бледное лицо морской бури, несущейся с визгом на скалы; и все деревья в лесу, и все цветы в поле, – о них я мог бы рассказать, потому что я их помню. Но как запомнить то, что так похоже одно на другое, что движется так странно – что извест-

но и неизвестно, что есть я и не я? Одно я знаю: оно охватило меня, и, как сон, овладело мною оно; и душу мою оно истерзало; и еще более одинокой и дикой стала она; и там, где глаза мои видели «шоколад и какао», там нашла она новую, еще более горькую тайну. Ибо тайной этой стал я сам: единый и множественный, растворенный и нерастворимый, человек и человечество.

...Возлюбленная моя!

Помню, что сперва, по выходе из отеля, я отдался толпе. И она подхватила меня и понесла вдоль каменных домов, мимо блестящих, безумно богатых, пестро изукрашенных витрин; и двери, двери, двери, и зеркальные стекла, отражающие белые рубашки, перстни и лица, и милая, горячая, увлекательная толпа. Я двигался, как и все; и как бы я ни шел, быстро или медленно, и что бы я ни делал: останавливался ли у витрин и разглядывал выставленные вещи, ожидал ли на перекрестке удобной минуты, чтобы под мордами лошадей и перед толстыми колесами дрожащих автомобилей перескочить на другую сторону; и закуривал ли я сигару; и входил ли я в магазин; и покупал ли я газету, и вставлял ли я в петлицу купленный цветок, — я роковым образом отражал движения и поступки других, толпы; я удваивал, утраивал их, повторял бесконечно.

И целый час, быть может, больше, я наслаждался, как никогда; что-то вроде семейной гордости испытывал я при мысли, что я похож на всех людей, как и они на меня, что я тоже принадлежу к этому великому и славному семейству. Что такое носовой платок? Так, пустяки, маленькая, печальная необходимость. Но когда он у одного, у двух, у всех, – он становится символом, маленьким белым знаменем братства. Мы все употребляем носовой платок; эта старая, избитая истина, ставшая незамечаемым шаблоном, вдруг наполнила меня чувством нелепого восторга и трогательного расположения к людям. Нисколько не сговариваясь, приехавши с разных концов света, говоря на разных языках, – вдруг оба мы, и я и он, вынимаем из кармана платки, разворачиваем, одинаковым движением подносим к лицу и... раз! готово.

– Почему, когда проходит поезд, все, даже незнакомые люди, размахивают платками, именно носовыми платками? – фантазировал я. И с наслаждением отыскивал все новые и новые сходства, все новые и новые фамильные черты... И то, что уже вскоре должно было ужаснуть меня, – эта роковая, трагическая похожесть того, что должно быть различно, эта убийственная необходимость для каждого влезать в одну и ту же форму: иметь нос, желудок, чувствовать и мыслить по одним и тем же учебникам логики и психоло-

гии, – радовало меня, как ребенка, в эти первые часы общения моего с городской толпой. Очень возможно, что в это время я напевал про себя или насвистывал что-то веселенькое, как и некоторые другие счастливицы, двигавшиеся рядом со мною.

Неприятное началось постепенно, и началось оно с того, что эти общность и сходство, которым я радовался, стали проникать несколько глубже, чем я бы хотел. Выразилось это первоначально в очень неопределенном и смутном чувстве, что я не совсем тот, каким был и каким желал бы остаться; а вскоре целый ряд маленьких поступков, которые я начал совершать давно уже, но заметил только теперь, привели меня к открытию, что воля моя, равно как и желания мои, потеряли свою самостоятельность и в значительной степени подчинены воле и желаниям других людей. И я уже встретил одного, двух, трех, одетых, как я: такие же шляпы, такая же материя на платье и ботинки; и у всех у нас роза в петлице. И уже увидел я одного, двух, трех, похожих на меня лицом, – и вот уже не принадлежит мне мое платье, и лицо мое не принадлежит мне. Так же с волею и желаниями моими: прежде была моя воля и мои желания, а теперь они наши, общие, как и роза в петлице.

Разве я любил когда-нибудь стоять и рассматривать галстуки или дешевые безделушки из террако-

ты и скверного фарфора или безобразно раскрашенные фотографические портреты усатых господ? Почему же теперь я стою и рассматриваю жадно? Разглядываю ярлыки и соображаю что-то, и вдруг, охваченный нестерпимым, бешеным желанием покупать всю эту дрянь, всю эту мерзость, о которой стыдно будет вспомнить там, на берегу моря, устремляюсь в предательскую дверь, толкаю кого-то и извиняюсь, и покупаю, покупаю. И возле себя я вижу таких же растерянных господ, с натянутой улыбкой выбирающих вещи, за которые им попадет впоследствии от жены и от собственной совести. Зачем я приобрел эту зелененькую ящерицу из жести, которую некуда девать? Только потому, что дешево. Но разве я любил когда-нибудь дешевые вещи? И зачем я купил этот отвратительно пестрый, невыносимый галстук, от которого лицо тотчас же принимает все типичные черты дегенерата? Ведь я же его никогда не надену – даю в этом клятву.

Помню, я еще смеялся вначале; но уже вскоре веселость эта, несколько искусственная, утонула в новом, особенном чувстве, постепенно овладевавшем мною. Это было чувство торопливости, боязни опоздать куда-то, чего-то не успеть. И стоял ли я беззаботно у витрины, или так же по виду беззаботно двигался с толпою – внутри меня непрестанно трепетала какая-то маленькая секундная стрелочка и погоняла

меня: скорее, скорее! Скорее иди, скорее смотри, скорее кури свою сигару! У моря целыми часами я мог лежать, не шевелясь, и пересыпать песок между пальцев так медленно, как будто целая вечность передо мною, а тут я, свободный, незанятый, фланер, – изнывал под незаметными ударами какого-то острого бича: скорее, скорее! И вот тогда я стал вместе с ними, со всеми этими торопящимися людьми, прыгать на гудящие трамваи и ехать куда-то. И сперва это успокаивало меня: я стоял на площадке, курил, не торопясь, и добродушно смотрел на улицу, которая вся целиком, лавиной экипажей, автомобилей и велосипедов движется куда-то вместе со мною.

Но было ли в самом движении что-то такое, что вызывало желание двигаться еще быстрее, увлекала ли меня толпа, эти люди, которые так торопливо входили в вагон и выходили, и прыгали, я стал покорно перепрыгивать с одного трамвая на другой, с трамвая на железную дорогу, с железной дороги на подземную, электрическую. Всей массой, торопливо, громко стуча каблуками по асфальту, мы подходили к кассе, бросали деньги, потом через одну-две ступеньки бежали куда-то, вверх или вниз, под стеклянную, закопченную крышу или в голубой свет больших электрических фонарей, освещающих подземную станцию. Там мы рассыпались по перрону, а вагоны уже подбегали и за-

бирали нас, как песок забирает воду, или выбрасывали нас из других, и громко хлопали двери, и вот уже несемся мы в глубокой тьме, или где-то наверху, между черных, глухих стен, закопченных дымом, испещренных огромными вывесками. Как много домов, как много стен, глухих, черных, страшных! В них нет ни дверей, ни окон, – и вдруг кажется: это не дома, это – огромные каменные гробницы, и весь живой город замуравлен в них.

И вот тут стало мне жутко и беспокойно; казалось, я что-то потерял, и это потерянное есть мое я. Уже случилось так у одной кассы, что я сказал кассирше, бросая деньги:

– И вот этому дайте билет.

При этом я твердо ткнул себя пальцем в грудь, чтобы она не ошиблась. Как будто недостаточно и непонятно было бы, если бы я сказал: дайте билет мне. Потом в одном из вагонов, кажется, железной дороги, я наткнулся на одну очень неприятную и даже несколько испугавшую меня встречу. Когда я уже сидел, против меня занял место какой-то господин, самый обыкновенный господин в котелке, с небольшими усиками. На нем было черное пальто с бархатным воротником, коричневые перчатки, и в руках он держал тросточку с серебряной ручкой, – таких тросточек я много видел в магазинах и как раз одну купил для

себя. Подробнее описать я его не могу, так как он бы совершенно обыкновенен. На одну, на две минуты я отвернулся, чтобы посмотреть в окно: мы перелетали какую-то бесконечную, широкую, движущуюся улицу, и когда взглянул вновь, то с мгновенным испугом увидел: рядом с ним сидел другой, точь-в-точь такой же господин. Это не было сходство, допустимое даже в лесу, – это было тождество, это было безумное превращение одного в двоих, чудовищная зеркальность, наводящая на мысль о призраке. И они сидели, до ужаса одинаковые, думали о чем-то, конечно, до ужаса одинаковом, и руки их, у того и у другого, лежали на палках с серебряными ручками. Боже мой, но ведь и у меня есть такая палка! И что было самое ужасное и непонятное: ни они сами, ни кто-либо другой не замечали этого безумного тождества, и все были спокойны.

– Позвольте мне спичку, я забыл свои, – говорю я несколько дрожащим голосом.

– Я не курю.

Он говорит, он не призрак! И вдруг другой, улыбнувшись приветливо, протягивает мне спички – он курит. Он не совсем похож на этого – он курит! Милый человек, если бы ты знал, что все твое человеческое держится только на том, что ты куришь, а он нет, ты не выпускал бы сигары изо рта, ты спал бы с нею, ты приказал бы мертвому тебе раздвинуть рот и всунуть ту-

да огромнейшую гаванну с золотым ярлыком! И пусть при воскресении мертвых ты явишься с нею к престолу Судии, Он простит тебе эту вольность, мой милый брат!

И я успокоился как будто. Но то жуткое и тревожное, что вошло в меня, уже не оставляло меня и в дальнейшие часы; и что бы я ни делал, какие бы движения и поступки толпы я ни отражал, уже не удовлетворение и радость, а легкий щемящий страх ощущал я. От этого, вероятно, так и похоже на дурной сон все то, что я видел в огромном, прекрасном городе.

О ней я не думал. И помню, я начал искать одиночества. И было очень жарко.

Было очень жарко. Уж давно я начал ощущать эту тягостную, безысходную жару раскаленного города, но так как и всем было, очевидно, жарко, то я поступал, как все: вытирал лицо платком и старался сесть ближе к открытому окну, искал тени – и не особенно беспокоился. Но когда от шумного центра я стал углубляться в пустынные площади, в которых каждая пядь земли залита размякшим горячим асфальтом, я ясно почувствовал, какая это ужасная, особенная, ни на что не похожая жара.

Я не хочу бранить прекрасный город, который делает все, чтобы притвориться немного лесом, немного садом. Я видел внутри его огромный тенистый парк, в

котором на озерцах плавают даже в лодках; и эти газоны, и эти бульвары, и цветники; я видел множество людей, которые только и делают, что льют воду на его асфальтовые улицы и на всю эту зелень, иначе она тотчас же завянет. Но что же поделаешь, если вода сохнет мгновенно, и сами фонтаны кажутся выбрасывающими не живую, холодную влагу, а сухую, серебристую, нарезанную на полоски бумажку; если весь этот асфальт, и камень, и железные столбы, и рельсы, и тысячи железных вагонов, крыш, мостов накаляются сплошь и наполняют воздух горячим, безысходным удушьем. Я слышал ведь, что в этом городе умирают от жары – не от солнца, как под тропиками, а от жары, где-нибудь в комнатах, в тени. Вдруг станет душно – и вдруг нечем дышать – и человек умер, сердце его остановилось. И солнце неповинно в этих убийствах. Взгляните на него, когда восходит оно из-за моря: разве бывает у убийцы такой лучезарный, такой величавый и благодостный лик!

Все пустынное, все теснее, все уже становились улицы, по которым я двигался бесцельно, тускло бороздя неподвижный, удушающий жар. Это уже не были те широкие, прямые улицы-аллеи, которые дают иллюзию воздуха и простора, это были изогнутые, узкие коридоры с отвесными стенами, подпирающими небо, каменные трещины, полные заколдованных

неотпирающихся дверей, обманчивые пути, заводящие в ловушку. Уже час я шел, а им не было конца, как не видел я и их начала; на запутанный клубок они были похожи, на огромный, запутанный каменный клубок, которым играла гигантская кошка. И то, чего я искал, одиночества, свободы от толпы, вдруг начало меня тревожить. В лесу, или на берегу моря, или в настоящей пустыне, – я долго могу оставаться один, и там одиночество не пугает меня, потому что оно явно, откровенно, правдиво. Там моей мысли не касается ни одна спрятанная стенами человеческая мысль, там моя воля не пересекается незримыми волнами других человеческих волей, там я один. В пустынности же этих улиц, где так много окон и дверей, я почувствовал ложь, и, как всякая ложь, она немедленно превратилась в таинственную угрозу.

Почему на улице нет никого, когда кругом людей так много?

Я их чувствую. Я громко стучу каблуками по асфальту, и как одинок, как моляще-одинок этот непонятный, дробный, жалкий звук! Я свободно перехожу с одной стороны на другую, останавливаюсь и стою минутами, и напеваю я громко, чтобы показать, что я один, но я не один. Тело мое одиноко, это правда, но к мысли моей легкими прикосновениями припадают чьи-то чужие мысли, и в сердце мое входят чужие

чувства, и множество скрытых людей наполняет меня своей таинственной жизнью.

Нечто подобное я испытал однажды в королевской библиотеке, куда, с любезного разрешения ее директора, получил доступ в праздничный день. Был вечер, и в огромном помещении, с миллионом книг, молчаливо теснившихся на полках, я находился один и работал. Помню необычайную остроту моей мысли, в обыкновенное время довольно вялой и инертной. Помню, затем, ее постепенно нараставшую возбужденность, отрывочность и бессвязность образов, произвольность чувств, страшную парадоксальность и неожиданность идей, все то, что заставило меня под конец признать себя нездоровым и бросить начатую работу. Помню, наконец, мой испуг, когда я вдруг понял, что это книги действуют на меня, – не те, которые я выбрал сам и читаю, а те, молчаливые, запертые в шкапах, сжатые на полках. Это они, молчаливые книги, соединили какими-то таинственными путями мой мозг с тысячью других, уже умерших мозгов и предательски, молчаливо вливают в меня свою чуждую жизнь. Помню и сторожа, который открывал мне дверь, хмурого человека с необыкновенно старобразным лицом и такими напряженными движениями головы, будто все время он слышит что-то непонятное.

Но то были книги: умершие голоса, угасшие чувства, высохшие слезы, – а здесь два миллиона живых людей, два миллиона раз повторяющих одно и то же безумно сходственное «я». И то, что они были везде, а я их не видел, делало их еще более ощутимыми и власти их надо мною придавало характер фатальности. Я уверен, я убежден непоколебимо, что здесь, где-то поблизости, за одним из этих окон, плачет женщина или ребенок, – иначе откуда бы эти загадочные слезы беспомощности и жалобы, которые уже шевелятся внутри меня?

И мне становится невыносимо. И я хочу уйти скорее из этой пустыни, населенной плачущими призраками, но я не знаю, куда идти. Уже давно я здесь, и очень возможно, что я кружусь по одним и тем же улицам, и тогда я не могу уйти отсюда, тогда я буду кружиться вечно. Нелепая мысль, но она мучит меня до того, что хочется бежать. Можно спросить о дороге, вот идет человек, здесь иногда показываются эти одинокие торопливые фигуры... Нет, не могу, – я боюсь его. Почему? Я не знаю. Но я боюсь его улыбки, поклона, его вежливого предупредительного ответа. Конечно, он ответит предупредительно, но лучше я пройду мимо, притворюсь, что хорошо знаю, куда иду, и пройду мимо такой же торопливой, озабоченной походкой. Так почему-то будет лучше.

Боже мой! Как я устал! Боже мой, как я устал! И ни одного извозчика, а я не могу идти, я задыхаюсь от этой невыносимой, дьявольской жары, у меня дрожат и подгибаются ноги. Боже мой, что же я буду делать? И вдруг, – и это было одним из самых диких, тяжелых, непонятных чувств, какие я испытывал в жизни, – я чувствую свои каблуки. Высокие, твердые, кожаные каблуки, на которых я ходил всегда, не замечая их. Но теперь я чувствую, я слышу, как твердо прикасаются они к твердому горячему камню, и мгновенный дикий ужас пронизывает меня. Что мне показалось в эту минуту среди этих каменных молчаливых домов? Я не знаю, – мне трудно вспомнить то, что похоже на тяжелый сон.

Кажется, вот что. Кажется – я боюсь ошибиться – мне почудилось, – будто я начал уже каменеть, превращаться в камень, одеваться в какую-то твердую, непроницаемую оболочку, подобную камню. Будто я, уже одетый в камень, безнадежно отделен от воздуха и земли и должен задохнуться в своей каменной одежде. И будто уже безразлично теперь, буду ли я идти, или упаду, я безнадежно окован камнем, я каменный и мертвый. И это, что еще живет во мне, тоже сейчас окаменеет, и тогда не будет ничего.

Но ужас продолжался недолго, может быть, одну секунду или еще меньше. И уже в следующую секунду

ду – и это показывает, насколько уже я был утомлен, – он исчез совершенно и заменился чувством отчаянной, плаксивой беспомощности. Помню, я сел на какие-то каменные ступеньки перед закрытой зеркальной дверью. Долго вздыхал, покачивая головой, потом начал плакать, и даже, кажется, громко, потому что меня услышали. Отворилась дверь сзади меня, и кто-то спросил:

– Что с вами? Отчего вы плачете? Вы нездоровы? Почему вы уселись на ступеньках?

Я встал и извинился. У портье – это оказался портье – был очень приветливый вид, и говорил он с участием, за которым чувствовалась готовность подать мне первую помощь или отвезти в ближайшую лечебницу. Что мог я сказать этому городскому человеку? Что понял бы он?

– Вам нужен врач?

Что мог сказать я этому городскому человеку? И я пошел поскорее, чувствуя на своей спине его недоверчивый взгляд, и мне уже не было ни страшно, ни безнадежно, а только стыдно. И тоскливо немного.

...Возлюбленная моя!

Почему я не поехал прямо к ней, – я ведь так хотел? Не знаю. Но, как только я сел удобно в мягкое, широкое ландо, и возле меня поплыли такие же ландо, автомобили, трамваи, и на тротуарах запестрела жи-

вая, горячая, приветливая толпа, я вдруг повеселел, внутри опять забегала, погоняя, маленькая секундная стрелка, и я понял, что нужно ехать в ресторан обедать, что я очень хочу есть. Не скажу, чтобы я действительно хотел есть, но был тот час, когда все обедают, и нужно было торопиться, чтобы не опоздать. Потом пришлось бы брать блюда по карте, что стоит дороже и вообще считается почему-то неудобным.

Не буду утомлять вас описанием ресторана. Вы, конечно, знаете эти роскошные рестораны-дворцы, в которых едят одновременно две-три тысячи человек, где одной прислуги, поваров – двести – триста человек, не помню сколько. Этими ресторанами, убранными в мрамор, живопись и драгоценное дерево, гордится город, и пообедать там считается таким же долгом для приезжего, как и осмотр памятников. Вероятно, и мне кто-нибудь говорил про этот ресторан, потому что я прямо назвал кучеру его имя.

Было так много народу, что я долго не мог найти свободного столика и должен был ждать, пока не встанет какая-то отобедавшая пара. И голова немного кружилась: я принужден был пройти два этажа среди тесно сдвинутых столиков, говора, лязга ножей, женских больших шляп; приходилось ежеминутно извиняться. Но, когда я сел наконец и окинул взором большую залу, внизу густо усеянную людьми, мне очень понрави-

лось. И есть я стал с удовольствием, как и мой незнакомый, неразговорчивый сосед, занявший свободное место против меня. Но от непрерывного ли жужжания, в какое превращался весь этот лязг и отдаленный говор, оттого ли, что я действительно устал, мне опять сделалось не совсем хорошо; какая-то странная, назойливая, досадная мысль закопошилась в мозгу. Как будто я нашел, отгадал что-то особенное, но никак не могу схватить его.

И вдруг я понял: я ведь не видал никогда, как сразу, одновременно, едят тысячи человек. Что такое еда? Это так просто, так обыкновенно, этого никогда не замечаешь: берешь в рот, что лежит на тарелке, жуешь, глотаешь. И так же делают другие, кто за столом. Но послушайте, что это за ужасная, за кошмарная вещь, когда сразу, одновременно, под одним потолком, тесно прижавшись друг к другу, едят тысячи человек!

Режут, открывают рот, жуют, глотают. Режут, открывают рот, жуют, глотают. Я смотрю на соседа: он только что раскрыл рот. Запихивает туда что-то. Я гляжу направо, налево – везде раскрытые рты, перемалывающие челюсти, особенные, странные, незнакомые глаза, какие бывают только при еде. У некоторых, как у моего соседа, странно движутся уши, и в отчетливой напряженной работе челюстей ясно видится безглазый, костлявый череп с белыми крепкими зубами.

Боже мой, но ведь и я ем, и у меня также движутся челюсти! И вот, побледневший, я чувствую свой жующий череп, потом весь свой скелет, как он сидит на стуле, во всей его строгой, неумолимой серьезности; и направо, и налево, и впереди себя я вижу тысячи таких же неумолимо серьезных скелетов; сверху у них что-то улыбается, говорит, чокается, кивает шляпами, а внутри все та же строгая серьезность, изумительная простота, спокойствие. Те, снаружи, как будто не догадываются, что сытости нет, что все это напрасно, жадничают, потом довольно улыбаются, закуривают сигары; а эти, внутри, безнадежно спокойны, терпеливы, покорны. Вот один поднялся и идет к выходу; я вижу, как пришли в движение его кости, обтянутые серыми брюками, и мне хочется встать и крикнуть ему:

– Послушайте, постойте! Посмотрите, кого вы несете внутри себя!

Но он уже ушел. И я поворачиваю к слуге мой спокойный, послушный череп и говорю ему беспокояно:

– А вина! Почему вы не подали мне вина?

– Вы не заказывали вина.

– Разве? Все равно. Принесите. Но, пожалуйста, поскорее.

Слава Богу, я выпил вина, и кошмар проходит. Я снова вижу людей, и только минутами, при повороте головы, я чувствую внутри себя что-то неладное, но и

это скоро исчезает. Но какое отвратительное впечатление, когда в таком приятном месте внезапно почувствуешь свой скелет, как он сидит и ворочает голым черепом! И почему он так серьезен – так возмутительно генеральски солиден, разве он – не я? Но довольны о нем. Слава Богу, это прошло...

И от вина, вероятно, мысли мои принимают более естественное, даже несколько смешливое направление. Вдруг я ясно вижу, что это не люди, которые обедают, что это зверинец, тысячи зверей, которых привели сюда кормить; посадили их, привязали им на шею салфетки и подсовывают им разную еду. И мне доставляет удовольствие разглядывать лица и улавливать сходство с тем или другим животным. Курю сигару, улыбаюсь и думаю: а на кого похож я сам?

Но они продолжают жевать и глотать, жевать и глотать, и это снова начинает раздражать меня. Вдобавок мне подали кислое, плохое вино, от которого становится скучно. Я расплачиваюсь, вновь осторожно пробираюсь между бесчисленными столиками, где жуют и глотают, и наконец выбираюсь на улицу.

Тут хорошо. Светит солнце, и хотя по-прежнему жарко, но все-таки есть чем дышать. И они к тому же гораздо лучше, когда ходят, чем когда едят. Они даже нравятся мне. Беру извозчика и еду в Зоологический сад. Раньше я и не думал ехать в сад, хотя слышал о

нем много хорошего, но теперь почему-то мне кажется это естественным и даже необходимым. Вероятно, какая-нибудь ассоциация идей, одна из тех, которым так легко поддаешься в городе, когда становишься одною из его маленьких волн. А может быть, я вспомнил лес, и мне захотелось видеть деревья и зелень, кто знает! Что может ответить на это человек, у которого его я уже начало расплываться в многоликую, то смеющуюся, то плачущую гримасу?

На сад я как-то мало обратил внимания в первые минуты. Приятно мелькнула зелень перед глазами, вдруг отошел, стал глухим и мягким непрерывный городской шум; утомленные, окаменевшие ноги отрадно почувствовали мягкую податливость гравия, усыпающего дорожки, и это было пока все, что дал мне сад. Вся же острота внимания моего была немедленно обращена на зверинец, на эти павильоны, клетки, проволочные и железные загородки, каменные бассейны и гроты, где смутно и заманчиво мелькнули на отдалении многочисленные движущиеся фигуры зверей с их характерными, звериными и птичьими, столь отличными от человека очертаниями и окраской. Очень возможно, — это случилось потому, что и все другие люди, одновременно со мной вошедшие в сад, не обнаружили никакого интереса к деревьям и зелени, а все сразу, жадно любопытствуя,

устремилась к зверям. И первое время, подобно им, я был очень поверхностен в осмотре, перебежал от одной клетки к другой, из павильона в павильон, почти сразу увидел огромный, мясистый, отвратительный рот гиппопотама, высывающийся из грязной воды, и каких-то маленьких, отчаянно горланящих птичек; посмеялся перед обезьянами, успел бросить хлеба медведям, – и в полчаса, должно быть, обежал весь огромный, крайне богатый зверинец.

Потом оторвался от толпы и сел, окончательно сраженный жаром, чувствуя с отвращением, что мой крахмальный высокий воротничок раскис, обрюзг, съежился, перекосялся, как старчески неопрятная физиономия после сильной попойки. У нас в лесу к вечеру становится всегда прохладнее, а здесь железо и камень, набирая тепло, к вечеру душат город, как разбойники. Сидеть было легче; и притом сел я очень удобно, возле самой клетки с тиграми и львами. Но уже вскоре я раскаялся, что выбрал такое место.

Дело в том, что, приглядываясь к метавшимся в клетке зверям, я вдруг заметил, что им жарко, нестерпимо жарко, жарче, кажется, чем даже мне. И, помню, я слегка рассердился, так это показалось мне дико.

– Симуляция, мой друг, симуляция! – мысленно сказал я бенгальскому тигру, тщетно стараясь встретить его мерцающий, загадочный взгляд. – Ты не белый

медведь с северного полюса, ты из Индии, ты привык к такому солнцу, перед которым наше не жарче переносной печки. Зачем же ты притворяешься?

Но потом пригляделся еще и еще; вспомнил все эти понурые тела, устало и непрерывно шагающие или бессильно распластавшиеся на досках, вспомнил теплую, нагретую, как в ванне, грязную воду, из которой просяще высывалась толстая, глупая рожа гипопотама с крохотными глазками; и понял со страхом, что не одному тигру, а всем им нестерпимо жарко; что весь этот звериный, птичий, водяной мир вокруг меня задыхается от неестественной, дикой, нелепой жары. Задыхается молча, не жалуясь, никем не понимаемый, одинокий в звериной пестроте своей.

И опять я искал глаз тигра, но теперь уже с другой целью: мне хотелось выразить ему сочувствие. Не пожать ему лапу, на это я не решился бы, но просто с лаской и грустью взглянуть ему в глаза. Но я был чужд ему со всем моим идиотским сочувствием; я не существовал для него, и все так же упорно, все тем же загадочно мерцающим взглядом он смотрел перед собой. И только на поворотах, слегка подняв голову, он окидывал глазами сад, и в этом движении мною почувствовалось что-то разумное, понятное.

– Это он радуется зелени! – подумал я. Правда, как было бы ужасно, если бы в эту жару их оставили со-

всем без зелени!

И тут, следуя за его взорами, я внимательно пригляделся к саду. И мне стало совестно. Мне, человеку, стало совестно перед зверем. Не за жестокость, нет, что такое жестокость в этом мире! – а за мою, за нашу человеческую глупость. Сад, Боже мой! Огромный, прекрасный сад... И этому я мог радоваться! И это я мог считать за кусочек природы! И это я мог рекомендовать в утешение зверю, умному, неиспорченному, честному зверю!

И я вспомнил с тоскою все эти сады, в которых нет местечка, куда не упал бы тысячекратно взгляд человеческий; все эти уличные аллеи, стволы, окруженные жалкою полоскою земли с валяющимися окурками; корни, придавленные асфальтом. Я смотрю на деревья против меня и вижу – им жарко, нестерпимо жарко, как и зверям, – несчастные деревья! И только цветы радуются и высоко держат голову, политые. Да ведь это рабы – эти жалкие городские цветы, которые могут расти и в тюрьме, которые можно купить стаканом воды из водопровода. Рабы!

– Но кислород и озон. Кислород! Понимаешь, тигр, все это нужно для кислорода. Это вовсе не глупость, кислород!

Но он не понимает. Он не смотрит на меня; и, тяжело поднявшись, иду дальше, куда-то дальше. И таким

безнадежно далеким, безумно недостижимым кажется мне мое пустынное море. Но почему я не думаю о ней? Почему, когда я вспомню ее чистые глаза, обращенные ко мне с вопросом, – становится стыдно, хочется опустить голову, спрятать ее в какой-то темный мешок, почему?

...Помню еще вот что: я долго один в каком-то мало посещаемом углу и очень долго, очень серьезно обдумывал вопрос: как может убежать тигр? Ну, допустим, сторож напился пьян и забыл затворить клетку, и это как раз к ночи, когда в саду нет никого. А дальше? Улица. Нет, это невозможно: что будет делать он в своей шкуре на этих улицах! Но, положим, он как-нибудь их проскочит – а дальше? Шоссе, железная дорога, расчищенные парки, фермы; тысячи вооруженных людей, посланных в погоню. Нет, не годится.

И помню, – я, вероятно, несколько задремал от усталости, – я очень часто и упорно представлял себе одну картину: тигр в цилиндре, в перчатках, скрывающих когти, берет билет у кассы и едет по подземной дороге. Потом по железной дороге. У него чемодан из желтой кожи, увязанный ремнями плед, и он все едет, едет. До Индии ведь так далеко! И он все едет, едет... И в руках у него палка с серебряной ручкой, а во рту огромная дымящаяся сигара. Едет...

Их там было много, маленьких городских детей с

боннами и гувернантками, но я избегал смотреть на них: при том состоянии, в котором я находился, и в их детских, милых личиках, в их глазах я мог увидеть что-нибудь печальное. Но постепенно утомленное внимание мое стала привлекать девочка – маленькая девочка, с голыми ручками и ножками, в белой рубашечке, по краям обшитой широкими красными полосами. Я плохо разбираюсь в возрасте детей и не знаю, сколько ей было лет: три, четыре года, а может быть, пять.

Сперва я долго, с упорством бессознательности, вглядывался в ее светлые, короткие локоны, свободно раскинутые на круглой головке, и белую нежную шейку, на которой проходила тоненькая серебряная цепочка, вероятно, от крестика, – пока не зажглось во мне чувство какой-то тихой, безмерной радости, удивления, близкого к молитвенному восторгу. Радостно изумленный, я уже сознательно вгляделся в нее, в ее личико, в ее легкую, стройную, строго соразмерную фигурку. Боже, я еще никогда не видал такого совершенного, такого очаровательного человеческого детеныша! Так вот отчего мне весело!

Все в ней было совершенно. Глаза, движения, каждый шаг круглых, наивно незаконченных ножек в белых туфельках, – все было в ней совершенно. И это была не только совершеннейшая красота, это была

мысль, огромная, загадочная мысль, великая и светлая тайна, которую читаю я в небесах, когда темной ночью сквозь стекло телескопа бросаю мой взор в глубину Млечного Пути, в мириады сверкающих миров. Но мысль, спустившаяся на землю! Но тайна, принявшая родной и знакомый образ человека! Что же такое – ты, человек, если можешь быть так прекрасен порою!

И какой самостоятельный детеныш: ходит одна между детей – гувернантки не видно, – напевает, думает о чем-то, – какие должны быть у нее мысли! – посматривает на небо, на меня взглянула. И это среди зверей с их зубами и мерцающим загадочным взглядом! Идет куда-то, все одна – иду за нею, идет дальше – иду за нею. Вот у одной из боковых дорожек железная невысокая решетка и за ней овальный, каменный бассейн, полный все той же грязной, теплой водой. Вода колыхается, ходит большими плоскими волнами, видимо, какое-то большое тело беспокойно бороздит ее там внизу. Вот куда мы шли!

Девочка обнимает тоненькими беленькими пальчиками железные прутья и прижимает к ним свое очаровательное личико. В том, как стоят ее ножки, во всей ее позе видно великолепное, царственно спокойное ожидание. Стоит и ждет, спокойно, великодушно, терпеливо – очаровательно надменный детеныш челове-

ка!

И вот, спуская воду с пологих плеч, показывается он. У него круглый, точеный, умный череп, туго обтянутый короткой шерстью – от воды она прилегла со всем как кожа и поблескивает тускло. Он стоит твердо, как изваяние, опершись плавниками о камень, и неподвижно смотрит на девочку своими изумительными, мистическими глазами. Большие, черные, лишенные бровей и ресниц, они смотрят, как широко открытые черные окна, с простотой и величавой откровенностью тысячелетней неразгаданной тайны. И кажется, глядя в эти бездонные глаза, будто остановились все часы в городе и замерли их суетливые стрелки; будто нет времени, и, увлекаемый неведомой силою, погружаешься в самые первоисточники бытия, теряешь имя, память, образ человека...

И прямо, напротив, глаза в глаза, смотрит на него, царя и чудовище, другой царь: маленький, надменный, очаровательный детеныш человека. Что за странная встреча, здесь, в этом городе? Что думаете вы оба, глядя так просто, так понятно друг на друга?

Слышу нежный, влюбленный лепет:

– Милый! Милый!

Молчание.

– Милый!

Молчание.

– Я очень люблю тебя!

И я отошел от них на цыпочках, не решаясь оглянуться, как глупый шпион, застигнутый у чьих-то священных дверей. Помню, я долго блуждал по аллеям, взволнованный, смущенный, радостный, и так бережно нес себя, будто боялся расплескать что-то драгоценное. Правда, вскоре новые, тягостные впечатления сгладили это чувство и вновь бросили меня к скорби, печали и даже отчаянию, но с тех пор до сего дня мои беспокойные мысли возвращаются непрерывно к этим двум, встретившимся так странно. И разве все то, что я видел потом в городе, не было непрерывным возвращением все к этой же великой тайне? И разве не новыми кажутся мне теперь пустынные море и лес? И разве не новый таинственный смысл влагаю я в мои поцелуи, когда бережно устами моими я прикасаюсь к устам ее, моей возлюбленной, той, которую я люблю больше всего на свете?

...Возлюбленная моя! Одинокó ждущая меня, чтобы дать покой моей исстрадавшейся мысли и открыть последнюю великую тайну. Ограждающая от зла! Творящая благо и жизнь! Возлюбленная моя...

И опять я не поехал к ней, как хотел первоначально. Та странная нерешительность и безволие, которые овладели мною с первых шагов по улице города, продолжали удерживать меня в саду, хотя я взял от

него самое лучшее, и более хорошего ждать не мог. И действительно, уже вскоре я наткнулся на зрелище, которое наполнило меня отвращением и гневом.

Это были орлы и орлицы – десять – двенадцать царей и цариц, запертых в небольшую железную клетку. Правда, для воробьев или каких-нибудь мелких птиц эта высокая, почти в два этажа, широкая клетка показалась бы обширнейшим великолепным дворцом. Но для них, для этих огромных, свободных, царственных птиц, с их саженым размахом крыла, она была чудовищно, безобразно мала. И когда какой-нибудь из несчастных пленных царей пробовал лететь, – что за беспорядок, что за отвратительный, жалкий беспорядок поднимался в клетке! Этот несчастный бил своими крыльями по железным прутьям, по земле, по своим, наконец, товарищам, и все они начинали кричать, браниться, ссориться, как торговки, как женщины, собравшиеся со своими горшками к одной печке. Их хриплый, дикий клетот, который звучит так мощно над вершинами гор, над великим простором океана, – здесь становился похож на пьяные голоса сердитых, обиженных людей, изнывающих от тесноты, беспорядка, бессмыслицы жизни. Я не знаю их языка, но ясно, с отвращением, понимал я их пошлую брань, гнусные намеки, противные, плаксивые жалобы, циничный смех и ругательства.

И это были орлы! У всех у них были грязные, встопорщенные перья, обломанные крылья; их энергичные остроклювые лица с зоркими, орлиными, властными глазами выражали мелкую злость, раздражение, глупую зависть. И только немногие пытались лететь; большинство же, привыкшее к неволе или даже рожденное в ней, цепко держалось когтями за грязные, загаженные перекладины или обрубленные сучья коротких, вкопанных в землю стволов; и когда те пробовали лететь – эти, обеспокоенные, возмущенные, начинали клеветать, браниться яростно, быть может, даже звали полицию. Мне хотелось посмотреть, как движутся эти, и я стал поджидать, и я дождался: они не летали, они – прыгали короткими прыжками, как большие воробьи, как куры в курятнике.

И это были орлы.

Я должен отдать справедливость людям, которые стояли у этой клетки: они не смеялись. Они подходили быстро, заранее полные того невольного почтения, какое человек оказывает свободному зверю и птице; взглядывали коротко и медленно отходили. Трудно сказать по лицам, что думали они; но мне кажется, судя по внезапной вялости движений и походки: им становилось скучно. И в то время как у клетки с обезьянами всегда стояла густая толпа, здесь было почти

пусто.

К сожалению, я должен также упомянуть об одном господине, который засмеялся и даже обратился ко мне с каким-то шутливым замечанием. Но чем меньше о нем говорить, тем лучше.

Я уже шел к выходу, когда откуда-то из глубины сада пронесся громкий, странный, весьма продолжительный крик. Здесь многие кричали: кричали попугаи, ревели львы, испускали свой дикий вопль олени, наполняя воздух густыми трубными, могучими звуками, — столь несоответствовавшими их кротким и задумчивым глазам, — хохотали гиены, тьякали и даже выли собаки, и я не знаю, почему я остановился и потом решительно и быстро пошел в направлении загадочного звука. Конечно, мне не следовало этого делать, но, видимо, уже так печально складывался для меня этот бесконечный, тяжелый, кошмарный день. Кроме того, в самом существе загадочного крика было что-то настолько повелительное, что я не посмел послушаться. Вместе с тем многие, обычные, по-видимому, посетители сада отнеслись к нему совершенно равнодушно, и только два-три человека так же решительно и быстро последовали за мною.

Уже два раза я назвал крик загадочным, но это потому, что сразу я совершенно не мог определить его сущность. По силе, по своеобразной дикости, по духу

своему – это был, несомненно, голос зверя, но в то же время в нем ясно чувствовалось что-то человеческое, даже слова как будто, целые фразы, выкрикиваемые на неизвестном, но очень выразительном языке. И так же трудно мне определить то, что выражал этот крик. Поскольку он был человечен – это было чувство бешеного гнева, громовая музыка непрерывных огненных проклятий; но поскольку он оставался звериным – в нем было еще что-то, не поддающееся определению, но еще более страшное.

Вообще весь этот крик был настолько страшен и угрожающ, что последнее расстояние я бежал почти бегом, мне начинало казаться, что там случилось что-то и надо поспешить. Но, когда мне оставалось всего несколько шагов и я уже видел кучку людей, толпившихся у железной решетки, – крик вдруг оборвался, и наступило молчание. Осмотревшись, я узнал место: это было почти рядом с тем, где я видел девочку и тюленя; и люди толпились около такого же овального бассейна с грязной, взбудораженной водой. Я приблизился к самой решетке: да, как раз так же ходила вода, разрезаемая по низу большим мечущимся телом, но было ли больше неизвестное тело, или движение его бешенее и быстрее, – волна казалась короче, острее, беспокойнее.

Мелькнула темная, скользкая спина, одно-два бес-

покойных ломаных движения, тяжелый густой вздох, фырканье, и на поверхность выбрался он, тот, что кричал. Повернулся тяжело, вздохнул так, словно у него была одышка, и неподвижно уставился на нас, как бы давая время лучше разглядеть его безобразное, скуластое, страшное лицо. По-видимому, он был стар, очень болен и скоро должен был умереть; его большие черные глаза отсвечивали кровью, щетинистые редкие усы были седоваты; и, когда он открывал рот и молча скалился, видны были испорченные, гнилые, искрошенные зубы. Вначале мне показалось, что он смотрит на нас; но нет, он смотрел дальше, – гораздо дальше.

И вот тут он снова закричал, сразу, всюю полнотою и силой этого дикого, неслыханного крика. И так же сразу, весь похолодев от чувства непередаваемого ужаса, я понял, что он – проклиняет. Стоит в своей грязной лоханке, посередине огромного города, – и проклиняет проклятием зверя и город этот, и людей, и землю, и небо. Он стар, он очень болен и скоро должен умереть.

Было бы безумием пытаться передать всю грозную силу проклятий несчастного зверя. Все ядовитые слова, какими обмениваемся мы, люди, когда хотим выразить наше неудовольствие друг другу или небу, кажутся комариными укусами сравнительно с этой ре-

чью, где каждый напряженно трепещущий звук был налит смертоносным ядом. Я знаю благородный гнев библейского Иова; я помню гневные упреки Каина; в моих ушах еще звучат проклятия пророков, какие посылали они на головы нечестивых городов и народов, но что значат они все перед этим простым, как голос самой оскорбленной земли, проклятием умирающего зверя! Он не ждал ответа; одинокий, умирающий, он не искал понимания; он проклинал в века и пространства, бросал свой голос в их чудовищную, безумную пустоту. И почудилось мне: вместе с проклятием его встают из гроба гигантские тени умерших столетий и идут торжественно в кровавой мгле; и новые встают за ними; и бесконечной вереницей огромных, бледных, окровавленных теней они беззвучно облегают землю и в пространство направляют свой страшный путь...

– Послушайте! послушайте! что же это такое! – схватил я за плечо соседа, лицо которого, как зеркало, отразило мое побледневшее, искаженное болью лицо.

– Я не знаю. Он каждый день так. Он, вероятно, очень болен.

– Это невозможно! Этого же нельзя оставить. Его надо убить! – сказал другой и взволнованно зашагал куда-то.

...И я бежал, гонимый проклятием зверя. И я во-
рвался в темную комнату, где одиноко ждала она; и я
упал перед ней на колени и с рыданием закричал в ее
бледное лицо:

– Он проклял меня! Слышишь, он проклял меня!

Мы были в лесу. Уже светила луна, и мы были в ле-
су, я и она, моя возлюбленная. Она сразу поняла, что
случилось со мною; в моих бессвязных речах она по-
чувствовала яд города и молча, как больного ребен-
ка, как человека, отравленного угаром, увлекла меня
сюда. И сказала мне:

– Дыши! Дыши всей грудью! И не думай. И смотри
на лес.

Но я не смотрел на лес, – я смотрел на нее. Под
светом луны лицо ее было холодно и бело, как мрамор.
Она молчала и думала о чем-то. О чем думала
эта женщина, такая чужая и такая близкая бесконеч-
но?

– Отчего так бледно твое лицо?

– Щеки мои горят. Это так кажется от луны.

– Отчего у тебя такие большие, такие черные гла-
за? Куда ты смотришь?

– Я смотрю на тебя, мой милый. Я хочу согнать тени
с твоего лица.

– Пойдем дальше. Здесь я чувствую еще город.

Все дальше и дальше шли мы, обвеянные лесною

свежестью, и мы хотели проникнуть в самое сердце тишины и мягкого света. Здесь, в глубине леса, где не видно уже было станционных огней, луна сияла царственно и мощно. И так священна была светозарная тишина, что казался святотатством каждый легкий звук, хруст сучка под ногами, легкий шелест платья. Вдруг она остановилась.

– За нами идет кто-то. Послушай!

Я прислушался: было светло и темно. И ее, в ее белом платье, и меня облегали пестрые тени сучьев и листвы; и так неподвижны, так тихи были эти легкие тени, что переставало вериться в самое существование звука.

– Нет никого. Тебе послышалось.

– Я боюсь идти дальше. Сядем лучше здесь.

Так она сказала, веря и не веря. И в этих словах я узнал ее, храбрую и трусливую, сильную и слабую женщину, которая смело пойдет на смерть, когда нужно, и испугается до слез темной тени в углу. И я начал смеяться над нею, целуя ее нежно; и такой милой она стала, и вдруг радостно вздохнула вся душа моя, – ибо великая радость для мужчины быть защитником женщины и хранителем ее.

– Трусиха! – смеялся я. – Маленькая, глупенькая женщина, которая вдруг испугалась леса.

И, обижаясь слегка, она отстраняла меня:

– Нет, я не боюсь леса. Но я так ясно почувствовала, что здесь кто-то есть. Сядем вот тут, в тени...

И мы сели в тени высокой, толстой сосны, опершись спинами о ее теплый, шершавый ствол. Перед нами тянулись длинные тени деревьев, а когда я взглянул назад – росистая трава отливалась дымчатым серебром, и по ней тянулись такие же дымчатые, длинные, тающие тени. И так по всему лесу неподвижно лежали они, далеко, до той неуловимой взглядом грани, где все вдруг становится непонятным: тени и свет, и чернь и серебро, и дымчатость прозрачной хвои, и все сливается в одну молчаливую, серебристо-черную тайну.

И тихо жаловался я ей, моей возлюбленной:

– Я боюсь проклятия зверя. За что он проклял меня, за что? Разве я виноват, что на земле так плохо? Когда я родился, земля уже была такою; и такою же останется она, когда я умру. Ведь так коротка и бессильна моя жизнь!

И тихо спрашивала она, прижимаясь ко мне:

– А они тоже проклинали – эти тени, которые ты видел?

– Нет. Ведь они мертвые. Они шагали молча. У них огромные окровавленные головы, но они шагали молча...

– В кровавой мгле?

– Да... в кровавой мгле.

Я смотрел на черные тающие тени и думал вслух:

– Он сожжет их города.

– Кто?

– Тот, кто захочет правды. И наступит время, когда ни одного города не останется на земле. Быть может, не останется и человека.

– А кто знает правду?

– Зверь знает.

Она задумалась, и я почувствовал, как нахмурились и сошлись ее брови. И сказала с уверенностью:

– Нет, он тоже не знает. Зачем он проклял тебя? Он не знает правды. Разве тебе не так же плохо, как и ему? Милый мой, дай мне твой лоб, я поцелую его.

– Возьми мои губы.

– Нет. Когда жалеют человека, его нужно целовать в лоб, где его мысли.

И я сказал:

– Что это значит: поцелуй? Вот прикоснулись твои губы к моему лбу, и я уже другой. Откуда это могущество? И что такое женщина? И что такое любовь?

– Женщина – это я. И любовь – это я.

– Ведь ты же умрешь когда-нибудь? Но разве ты чувствуешь смерть?

– Я чувствую только жизнь. Смерти нет.

– Я люблю тебя.

– Я люблю тебя.

И, сказав эти священные слова: «я люблю тебя», и услышав этот священный ответ: «я люблю тебя», – вдруг почувствовал я и величие, и тайну, и грозное могущество нашей человеческой любви. И почувствовал я, что, еще не борясь, еще отступая, и падая, и плача, я уже победил неведомого врага тем, что громко сказал в эту лунную ночь: «я люблю тебя». Помню, как чуду поклонился я ей, женщине которую люблю, и к коленам ее припал в безмолвии и тайне. И слышал: вот положила она на голову чудесную руку свою и благословила меня великим благословением любви в безмолвии и тайне...

И тогда... О, город! Проклятый город.

И тогда я услышал этот подлый шорох позади нас, это мерзкое учащенное дыхание. Я приподнялся, окликнул, и вот что увидел: из-за дерева, стоявшего в нескольких шагах позади нас, высовывалась темная, насторожившаяся голова в круглом котелке. После моего оклика он, подглядывавший негодяй, испуганно спрятался; потом вышел и большими шагами, осторожно, на цыпочках, неся на отлете руки, в одной из которых была зажата тросточка с серебряной, блестящей ручкой, бесшумно удалился. Он горбился при этом, когда шел; и навсегда я запомнил эту картину: лес, полный лунного дыма, ее, широко открывшую испуганные, оскорбленные глаза, и скользкую

по серебристой траве воровскую тень сгорбившегося господина в котелке и с приподнятыми руками. И навсегда я запомнил это чувство тяжкого оскорбления, невыносимого отвращения, близкого к тошноте, и холодной, смертельной скуки, убивающей желание жить.

Да, я сразу понял, кто был этот господин. Это был один из тех отвратительных, жалких, полусумасшедших эротоманов, которых всюду и всегда, днем и ночью, преследуют грязные, сладострастные образы. Их доводит до сумасшествия, до полного скотства город, полный красивых, но чужих и недоступных женщин. Днем они шатаются по улицам, выслеживают женщин, раздевают их мысленно и замирают от гнусного, сладострастного восторга, когда ветер или сама женщина чуть-чуть поднимет подол шелковой юбки. Они заходят в магазины обуви, чтобы видеть ноги примеривающих ботинки женщин, действующие на них, как дурман; и потом на этих крохотных и скудных обрывках действительности они создают картины гнуснейшего, фантастического разврата, перед которым целомудрием и святостью кажется наивный, правдивый разврат древних. По тысячам скабресных карточек они изучили все разнообразие женского тела и знают столько форм женских грудей и бедер, сколько едва ли может запомнить сам Творец. Отвратитель-

ные, они жалки и несчастны в то же время, ибо голодны ненасытимо. По вечерам они безнадежно пристают к порядочным женщинам, выслушивают презрительные ругательства, иногда терпят дажи побои; бессильные, таскаются по садам, по темным аллеям, где прячутся влюбленные, подкарауливают, подстерегают, чтобы видом хотя бы чужой любви дать пищу своему жалкому воображению, хотя бы обманом утолить свой ненасытимый голод. Как те голодные собаки в загородных ресторанах, которые появляются неизвестно откуда и целыми часами сидят у стола и целыми часами, не замечаемые никем, молитвенно виляют грязными, запаршивевшими хвостами. И этот давно, по-видимому, следил за нами, быть может, еще с самого города, с вагона. Как должен был он прятаться искусно, какие чудеса ловкости он должен был проделать, чтобы остаться незамеченным и притаиться так близко. И с отвращением я представил себе, как он стоял за деревом, пока мы говорили; он ничего не понимал из того, что мы говорили, его ноги ныли от усталости, но он слышал слово «люблю», которое он понимает так по-своему, он видел поцелуи, и это наполняло его чувством сладострастных и гнусных предвкушений. Вероятно, он сердился на меня: зачем я так медлю?.. И в жилетном кармане у него тикали часы.

– Кто это? – спросила она сурово.

– Так. Не спрашивай.

– Пойдем.

И по тому, как был суров ее голос, как холодно оперлась она о мою руку, я чувствовал, что она оскорблена где-то в самой глубине женской души своей, оскорблена не только им, которого она не знает, но и мною. Ибо я тоже мужчина. Но разве не оскорблен я сам? И так шли мы с ней по мертвому лесу и молчали, и было так больно нам обоим. И от того, что мы молчали и не говорили о том, что больно, становилось одиноко и грустно, так одиноко и грустно. Ибо и в ней я почувствовал женщину, и отдалилась она от меня, и стала чужой и странной – она, моя возлюбленная, она, чистая и безгрешная.

Вот и станция, та самая станция с большими электрическими фонарями. Быть может, и он здесь, – поджидает поезд и разгуливает среди таких же господ, в котелках и с тросточками. Вот кто-то в конце платформы закуривает сигару и освещает белокурые, приподнятые усы, – не он ли это?

– Ты взял обратно билеты?

– Да. Вот твой. Возьми его и поезжай.

– А ты?

– Я не поеду. Я хочу пройтись немного.

– А ничего? Теперь ночь.

– Нет, ничего. Ты возьмешь экипаж от вокзала.

– Да.

– Не нужно на трамвае. Возьми экипаж.

– Хорошо. Ты поздно вернешься?

– Не знаю.

Так одиноко, так грустно было нам обоим И только уже прощаясь, входя в дверь вагона, она тихонько пожала мою руку. И хотя пожатие имело такой вид, будто она только благодарит меня за помощь, за то, что помог подняться ей на ступеньки, я понял, так как хорошо знал язык ее руки, что она простила меня. Взглянул ей в глаза: они улыбаются мне. Возлюбленная моя! Но уже двигался поезд, и скорее по движению губ, по выражению всего милого лица, чем по звуку, я уловил ее последние слова:

– Я не буду спать. Я буду ждать тебя.

...Возлюбленная моя!

Когда бываешь с женщинами, приходится сдерживаться, и гнев хорошо знает это: он свертывается в острый колючий клубок и тихонько лежит в душе, только изредка покалывая ее и холодя. И лишь теперь, оставшись один, я свободно отдался ему.

Помню, я шагал крупно по гладко шоссированной дороге, окаймленной огромными черными буками, размахивал палкой, не той безвредной тросточкой с серебряной ручкой, а настоящей, хорошей палкой, ко-

тору я вывез еще оттуда; и даже бил ею по стволам, по редким кустикам, ронявшим ночную росу. И при этом выкрикивал что-то, вероятно, короткие, злые ругательства. Не знаю, кого имел в виду мой бешеный гнев, которому я отдаюсь так редко. Тот негодяй, который подсматривал за нами, как-то вдруг сразу потерял свое лицо, смешался с другими, кого я видел сегодня, растворился в чем-то огромном, бесформенном и поганом. Поганом, иначе я не могу назвать того, что слепо лезло на меня своим грязным серым брюхом, тысячью ослабленных, ухмыляющихся идиотских рож.

Откуда взялись эти рожи, когда весь день я видел только лица, вполне приличные, чистые, гладко выбритые человеческие лица? А черт их знает откуда! Разве можно понять что-нибудь в этом сплошном идиотстве, которое... которое...

На этой прямой, как стрела, буковой аллее, служившей, очевидно, городским жителям для катания, еще не совсем прекратилась жизнь. Как огромные тяжелые призраки, проносились изредка автомобили, загораясь вдалеке парюю ярких, ослепительных, чудовищных глаз и принося с собою массу холодного крутящегося воздуха, и совсем редко проплывали тихие, молчаливые велосипеды, осторожно и мягко нащупывающие дорогу. И все это двигалось к городу, и все это

возмущало меня и вызывало дикую, нелепую потребность скандала. Именно скандала. Бросить в автомобиль камень или свалить велосипедиста, а когда он станет кричать и ругаться, закричать самому и избить его, изломать его тихую, осторожную, проклятую машину. Пусть кричит! И с ненавистью я пропускал каждый велосипед, оценивая его взглядом, и так было до тех пор, пока чей-то веселый, слегка пьяный голос не крикнул мне из-за яркого ацетиленового фонаря:

– Добрый вечер!

– Добрый вечер! – ответил я.

Действительно: и велосипед его слегка покачивался, и фонарь то выхватывал из темноты толстый, гладкий ствол, то бесцельно уходил куда-то в глубины леса и таял там. – «Бог с ним!» – подумал я. – Бог с ним, раз он говорит: «добрый вечер», – и перестал бить палкой по деревьям.

Но беспокойство, раз овладевшее мною, уже не оставляло меня. За своей спиной я продолжал чувствовать город; и с каждым шагом, удаляясь от меня, он становился все больше, неотвратимее, фатальнее. Я пытался думать о пустынном море, но тусклы были мои мысли и бледны были образы мои; и все крепче сжимались вокруг измученного сердца каменные объятия призрачного чудовища. Почему я стал вдруг произносить громко это безнадежное, печаль-

ное слово: умер! Шел, кивал головою утвердительно и повторял с тоскою, с безнадежною грустью:

– Умер. Да, да. Умер!

Кто умер? О ком я говорил так печально, и кивал головою, и жмурил глаза с безысходной, томительной грустью? Пронесился автомобиль, и я бросал в его яркий, ослепительный свет:

– Умер. Да, да. Умер!

Проплывал велосипедист, и его одинокую фигуру я провожал тем же кивком головы и странными, безнадежными словами:

– Умер. Да, да. Умер!

Слева от дороги, за редкою сеткою стволов и сучьев, пролегалo железнодорожное полотно и время от времени сверкающей линией окон проносились поезда; и им я сообщил эту печальную, трагическую весть:

– Умер. Умер.

Очевидно, и поступки мои приобрели характер той же произвольности, как и чувства, ибо многое, что я делал в тот день, я не умею объяснить и до сих пор. Так, помню хорошо, что я сошел с дороги и, имея самый решительный и разумный вид, долго разыскивал пень, на котором можно было бы сесть. И когда нашел, то так же решительно, как бы и это имея в виду, отдался самой безутешной скорби. Сидел согнув-

шись, как бы над гробом умершего, и плакал продолжительными обильными слезами и платок держал у лица. Вообще, припоминая тогдашнюю позу свою, я с удивлением замечаю, что по каким-то загадочным причинам я очень старательно, очень точно и искренно имитировал человека, который только что потерял кого-то горячо любимого и в присутствии друзей и близких изливает горе свое; над его прахом. И уже не вслух, а только про себя я повторял эти безутешные слова:

– Умер! Да, да. Умер!

Помню еще тот печальный вид, какой приобрело небо за эти часы. Оно затуманилось, сплошь задернулось белесой, тусклой, расплзающейся дымкой; и луна, уже опустившаяся низко, светила скупой и унылой, как фонарь сквозь синюю промасленную бумагу. И в лесу уже не было ни ярких пятен света, ни теней: он весь молча стоял в этом тусклом, безжизненном свете и не дышал. Потом почти сразу наступила такая же безжизненная темнота, и впечатление было такое, будто луна не взошла, а погасла, как фонарь, в котором иссякло последнее масло.

...О ком говорил я так печально и над чьим гробом я плакал так безутешно? Говорил ли я о человеке, – или о звере, который умирает одиноко в своей грязной лохани, – или о себе, – или о ней, – или о неве-

домом, которого мне жалче, чем себя, чем зверя, чем человека? Не знаю. Не спрашивайте меня...

Когда вновь я шел по дороге, возвращаясь в город, она была темна и пустынна. Потом далеко впереди мелькнул слабый огонек, очевидно, кто-то с фонариком вышел из боковой аллеи, и чуть слышно долетело скрипение колес. И так грустно было мне, что захотелось человека, кто бы он ни был, этот далекий неизвестный человек с тусклым фонариком. Я устал, мне трудно было идти, меня покачивало от слабости и от недавних слез, но я собрал последние силы и нагнал его. Он же двигался медленно. И в густой предрасветной темноте я различил небольшую тележку, доверху наполненную чем-то, с фонариком, стоявшим на краю, и силуэт высокого, сгорбленного, хмуρο шагавшего человека. Он шел понурившись и даже не обратил внимания на мои шаги и приветствие, быть может, не слышал его; но кто же вез тележку?

Боже мой! Это была собака. Худая, высокая, как и ее хозяин, она вытягивалась в своей веревочной упряжи, и видно было, как напрягается ее грудь и задние, длинные, жилистые ноги. И вопреки тому, что делают собаки, когда к ним подходят незнакомые люди, — она не залаяла, она даже не взглянула на меня. Точно оба они, и хозяин ее и она, были лишены и зрения и слуха.

Так некоторое время молча шагали мы все трое, и маленький огарок в фонаре тускло озарял серые, равномерно вытягивающиеся ноги. И громко, сам пугаясь звука своего хриплого голоса, я сказал ему:

– Послушайте, вы! Что делаете вы с собакой?

Но он не ответил, как будто не слышал. И снова шагали мы в темноте: я, хмурый человек и собака, и прошло много времени, когда я снова крикнул ему:

– Послушайте! Оставьте собаку. Я вам говорю!

И снова он не ответил, и мой голос потерялся где-то в темноте позади нас, потерялся и погас. И снова молча шагали мы трое: он, я и собака, вдруг так тесно связанные общностью каких-то страданий, что как будто и всю жизнь, и еще раньше, до жизни, всегда было так: прямая дорога, он, собака и я, шагающие молча к далекому городскому зареву. И время от времени одинокий голос, молящий и бессильный, похожий на голос женщины, бросал отрывисто и хрипло:

– Оставьте собаку! Оставьте собаку!

И опять тишина, поскрипывание немазанных колес, глухие шаги и тусклый свет фонарика, озаряющий две жилистые, равномерно вытягивающиеся собачьи ноги. Что это? Последний сон, последний дикий кошмар засыпающего города?

Но нет. Вот он остановился и снял зачем-то широкополую мягкую шляпу; и сама остановилась собака,

остановилась и молча легла, и вдруг сразу часто и быстро задышала. Остановился и я. И, отвечая на все то, что я говорил ему давно, отвечая еще на что-то, чего я ему не говорил, он произнес коротко и глухо:

– Все мы должны работать.

И только, и больше ничего. Но было что-то в голосе этого старого раба, от чего вдруг захотелось безумствовать, кричать, побежать к тому несчастному, умирающему зверю, разбудить его дикими словами:

– Послушай, старик! Выходи сюда. Я буду рядом с тобою. Мы будем проклинать вместе. Кричи, громче кричи! Пусть услышит тебя город, и земля, и небо! Громче кричи, старик. Тебе недолго осталось жить, кричи об опасности, кричи об ужасе этой жизни, кричи о смерти! И проклинай, проклинай, и к твоему проклятию зверя я присоединю мое последнее проклятие человека. Город! Город!

И он стоял и молчал, этот старый раб, и часто и быстро дышала измученная собака. И я снял шляпу, и я поклонился ему низко, как герцогу, как королю. И я снял шляпу, и я поклонился низко его собаке, – как королеве поклонился я ей.

Город! Город!

...К тебе иду я, моя возлюбленная! Встреть меня ласково. Я так устал! Я так устал!